P I 1/54.

А. Ф. КОНИ.

СУД НАУКА ИСКУССТВО

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНОГО ДЕЯТЕЛЯ

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
ПЕТРОГРАД
1923

6.20

А. Ф. КОНИ.

СУД—НАУКА—ИСКУССТВО

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНОГО ДЕЯТЕЛЯ)

„ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА“
ПЕТРОГРАД
1923

22474
14.V

Главлит. № 3843. Тираж 3.000 экз.

Воен. Типогр. Штаба Р.-К. К. А. (пл. Урицкого, 10).

I.

Судебная практика очень часто заставляет прибегать к специальным исследованиям, сосредоточивая в них центр тяжести дела и обращаясь к содействию *сведущих людей*, т.-е. *экспертов* по разным специальным отраслям знаний, искусств или ремесл. Походя по *внешнему* своему положению в процессе на свидетеля,—подвергаясь, как и он, перекрестному допросу и отводам со стороны прокурора и защитника,—давая показания под присягой,—по *внутреннему* значению своих об'яснений эксперт очень отличается от свидетеля. Последний говорит о том, что ему известно по делу, т.-е. по обстоятельствам, касающимся подсудимого и составляющим житейскую ткань разбираемого случая,—эксперт же дает заключение о том, что говорит ему его знание, опыт и навык о спорных, сомнительных или неясных без его помощи об'ективных данных дела, совершенно независимо от их отношения к виновности или невиновности заподозренного, обвиняемого или подсудимого. Поэтому, в пределах своего показания, он является научным судьею того материала, который им добыт путем исследования, или подвергнут его рассмотрению. Конечно, его заключение не может быть

обязательным для суда и отнюдь не является предустановленным доказательством, не подлежащим проверке или критике. В распоряжении суда нередко находятся житейские данные и сведения, которые могут не только не сливаться с выводами экспертизы в одно целое, но даже и прямо им противоречить на почве логики фактов. Но, во всяком случае, критика экспертизы должна быть строго обоснована—и к труду эксперта, по большей части большому и требующему траты сил и времени, надо относиться с особым вниманием. Бывает, что эксперты, особенно врачи, очень расходятся в своих заключениях, но это лишь придает особую важность вдумчивому отношению суда к оценке основательности этих заключений при сопоставлении их с выясненными на суде обстоятельствами дела. Научные выводы могут быть разноречивы под влиянием различных методов и точек зрения, но из того, что по словам латинской поговорки „Гиппократ твердит одно, а Галлиен другое“ не следует, чтобы мнение каждого из них не заслуживало внимательного к себе отношения.

Между экспертами, которых мне приходилось слышать на суде, первое и главное место занимали *судебные врачи*, мнение которых очень часто имело решающее значение для дела. По широте, научности и способу изложения своих мнений они явственно делились на две категории. К *первой* принадлежали уездные, полицейские и городовые врачи, старавшиеся обыкновенно вдвинуть свое заключение в узкие рамки устава судебной медицины, содержащегося в XIII томе Свода Законов. Не мудрствуя лукаво, стараясь выразиться по возможности кратко и в терминах, принятых в за-

коне, они, вместе с тем, в большинстве случаев отличались большой решительностью выводов. Вызванные в судебное заседание, они упорно держались раз высказанного взгляда и не любили подвергаться перекрестному допросу и в особенности подробным расспросам об основаниях своих выводов. Бывали, впрочем, случаи, когда такой врач, желая блеснуть ученостью, употреблял мало известные или своеобразные термины, за что, если дело слушалось при участии экспертов второй категории, о которых я скажу ниже, ему подчас довольно больно доставалось от своих же ученых коллег. Так я помню, как был растерян и сконфужен Валковский уездный врач Скиндер, которого по делу об убийстве Тараса Свинаря совсем прижал к стене профессор Лямбль, допытываясь от него об'яснения—что он разумел под словами „tonsura potatorum", употребленными им при описании твердой мозговой оболочки убитого. Не могу, впрочем, не признать, что почти всегда у этих скромных провинциальных работников я встречал добросовестный труд и желание послужить делу правосудия без всякой предвзятой мысли или тенденции. У меня было лишь одно столкновение, при наблюдении за следствием, с таким экспертом во время бытности моей товарищем прокурора Харьковского окружного суда,—когда пришлось настоять на пощаде чувств осиротелой, плачущей семьи убитого, уважительным отношением к его трупу, при производстве вскрытия в крестьянской хате.

Вторую категорию составляли профессора медицинского факультета и врачи-специалисты. Привычка большинства из них к преподаванию облегчала им дачу заключений в судебных заседа-

ниях и позволяла, не стесняясь в словах для выражения своей мысли, развивать ее с научной широтой и глубиной. Очень часто, особливо в первые годы судебной реформы, эти заключения обращались в целые ученые лекции, поучительные для слушателей. Особенным блеском, на моей памяти, отличались словесные заключения профессоров Харьковского университета, вызываемых в качестве экспертов. Среди последних особенно выдавался Душан Федорович *Лямбль*. Слушать его образную, строго научную, богатую опытом и многочисленными примерами речь было истинным наслаждением. Я не могу забыть его блестящих заключений о признаках, течении и исходе сотрясения мозга, — его глубокой, всесторонней психиатрической экспертизы по делу Андрусенка, обвиняемого в отцеубийстве, длившейся, при общем неослабном внимании, более двух часов. Не менее содержательны были и экспертизы Вильгельма Федоровича *Грубе* по вопросам о повреждениях травматического свойства. Мне кажется, что я и сейчас вижу перед собою его умное лицо, белокурые с проседью волосы, мягкий взор его голубых глаз и слышу его точное и убедительное слово с легким немецким акцентом. Воспоминание о нем связано для меня с делом об убийстве ходатаем по делам Дорошенко извозчика Северина,— делом, которое наглядно показало разницу между нашим старым и новым уголовным процессом. Живший в подгородном селе Григоровке, Дорошенко, вернувшись из Харькова с именинного обеда и, находясь, по характерному показанию одного из свидетелей, „под фантазией“, рассердился на привезшего его легкового извозчика Северина по поводу расчетов за езду и нанес ему

несколько сильных ударов в лицо. Вернувшись окровавленный в Харьков, Северин заявил в полицейском управлении жалобу на Дорошенко, впал затем в горячечное состояние, причем ему в бреду казалось, что его продолжают бить в Григоровке, и через две недели скончался, придя на краткое время в сознание и, сказав жене: „прощай, за мной приехали“. Вопреки просьбе жены, полицейским врачем Щелкуновым было произведено вскрытие трупа умершего и заявлено присутствовавшим при осмотре понятым, что „покойник умер от водочки“. Уездный исправник Танков посоветовал вдове Северина отправиться с данным ей письмом к Дорошенке и просить пособия, „если милость его на то будет“, а архив полицейского управления обогатился новым делом о *скоропостижной* смерти Северина, заключающим в себе акт вскрытия трупа и заключение врача с обозначением, что покойному было *шестьдесят* лет, телосложения он был слабого, различные части мозга, мозговые оболочки и сосуды были найдены переполненными кровью, причем существо мозга при разрезе представляло множество кровяных точек, в виду чего и принимая во внимание истощенные стенки сердца, врач признал причиной смерти порок сердца. Так дело о „скоропостижной смерти“ после двухнедельной болезни и заглохло, и г. Дорошенко, имевший связи и покровителей в некоторых кругах Харькова, продолжал пользоваться возможностью „бить всех извозчиков без исключения“, как он сам заявил одному из свидетелей по делу. Через месяц после смерти Северина в Харьковской губернии была введена судебная реформа, и в конце января 1868 года по „совету добрых людей“ вдова покой-

него обратилась к местному прокурорскому надзору, принесла пропитанную засохшею кровью шапку мужа и заявила, что по словам понятых врач Щелкунов ограничился лишь разрезом „живота“, а на замечание их, что „коли потрошить, так уж всего“, крикнул: „молчать!“ и пригрозил арестом. Хотя очевидной связи между побоями, нанесенными Северину, и результатом вскрытия, повидимому, не было, но нам, молодым товарищам прокурора (покойному Морошкину и мне), все это дело показалось подозрительным, а рассказ Севериной представился заслуживающим доверия, и, по нашему общему соглашению, решено было начать следствие и вырыть из земли труп Северина. Непосредственный результат этого превзошел наши ожидания. Оказалось, что покойному было около *тридцати лет,* что он был умеренного телосложения и что голова его вовсе вскрыта не была, мозг никаких кровоизлияний не представлял, сердце оказалось в виде нескольких разрезанных кусков, носовая кость надломлена и расколота, а в легких чахоточные бугорки. Допрос многочисленных свидетелей при следствии установил причинную связь между побоями, болезнью и смертью—и я составил обвинительный акт о предании Дорошенко суду за нанесение Северину, без намерения причинить ему смерть, побоев, вызвавших таковую (1464 ст. Улож. о наказ.).

Грозившая Дорошенке возможность осуждения и вероятность возникновения вслед затем вопроса об ответственности исправника Танкова и врача Щелкунова очень взволновали их многочисленных друзей и создали целую легенду о раздувании мною дела о невиновном, в сущности, человеке. Эта легенда, к удивлению моему, повлияла и на

вновь назначенного прокурора судебной палаты Писарева, который в заседании обвинительной камеры с горячностью опровергал мой обвинительный акт и предлагал прекратить дело. Но судебная палата с этим не согласилась и предала Дорошенко суду присяжных заседателей. В судебном заседании в защиту Дорошенко выступил целый ряд „достоверных лжесвидетелей", из показаний которых явствовало, что чуть ли не сам Северин побил Дорошенко, и что найденное у последнего при обыске большое и тяжелое чугунное кольцо, которым мог быть вооружен указательный палец кулака, нанесшего повреждение носовой кости Северина, обвиняемый носил не на правой, а на левой руке. Эксперты-профессора университета Питра, Лямбль и Грубе, признавая причинную связь между болезнью Северина и полученными им побоями, несколько разошлись во взглядах на причину смерти. Первый находил, что она вызвана ослаблением организма под влиянием горячечного состояния,—второй развил блестящую картину сотрясения мозга,—а третий признал, что удар, сопровождавшийся переломом носовых костей и обильным кровотечением, причиненное им сильное душевное потрясение и быстро развившееся малокровие должны были вызвать, как это показывает неоднократный научный опыт, скоротечную просовидную бугорчатку и смерть. На это разноречие экспертов особенно указывал в своих об'яснениях защитник Дорошенко Боровиковский, доказывая присяжным, что экспертиза противоречит элементарным правилам арифметики, по которым дважды два всегда есть четыре, а не пять и не три. Это заставило меня в возражении своем просить присяжных обратиться к другому пред-

мету школьного преподавания—не к арифметике, а к географии и припомнить, что круглоту земли доказывают несколькими способами, указывая на появление на горизонте корабля, на затмение луны и т. п., из чего, однако, не следует, что доказывающие неправы. И в этом деле эксперты одинаково признают смерть Северина от побоев, нанесенных ему в Григоровке, но только приходят к своему единогласному выводу путем различных соображений, делая его тем самым более прочным.

Я опасался, однако, что такое частичное разногласие экспертов может смутить присяжных, и когда судебное следствие подходило к концу, не чувствовал твердой уверенности в том, что присяжные разделят мой взгляд и тем самым оправдают то направление, которое я дал следствию по делу. В моей впечатлительной молодой душе начинала зреть мысль о выходе в отставку, так как оправдательный приговор присяжных лишь послужил бы подтверждением мнения главы прокуратуры, которой я был младшим членом, о том, что я „раздул“ дело, т.-е., злоупотребил своим служебным положением. Заключая судебное следствие, председатель суда Фукс обратился к сторонам с обычным вопросом о том, чем желали бы они дополнить дело. Вспомнив, что чугунное кольцо лежало пред судом в числе вещественных доказательств, я просил пред'явить его подсудимому и предложить ему надеть таковое на руку. Обвиняемый снисходительно улыбнулся и, взяв из рук судебного пристава кольцо, с особыми усилиями и видимой натугой стал надвигать его на правый и левый указательные пальцы. Кольцо не шло дальше второй фаланги левого пальца и и первой фаланги правого. „Я очень пополнел

последние годы,—сказал Дорошенко,—и кольцо уже давно должен был снять".—„Не могут ли эксперты—сказал я—определить, нет ли на руках подсудимого следов недавнего ношения кольца в виде полоски, обыкновенно остающейся еще некоторое время после того, как кольцо снято?"—Дорошенко, по приказанию председателя, оставил скамью подсудимых и вышел на середину залы перед судейским столом. Его окружили эксперты, защитник и судебный пристав. Вдруг на умном и красивом лице Фукса выразилось изумление, он широко раскрыл глаза, а затем многозначительно взглянул на меня. „Не угодно ли одному из экспертов дать заключение?" сказал он. И перед судейским столом остались с низко опущенной головой подсудимый и профессор Грубе.—„Прежде чем искать полоски от кольца,—произнес своим спокойным тоном Грубе,—мы попробовали надеть кольцо на руку г. Дорошенко и нашли, что при медленном поворачивании оно свободно входит на весь указательный палец его правой руки, на котором есть еще слегка заметные следы пребывания кольца". И с этими словами он взял правую руку Дорошенко и поднял ее вверх. На третьей фаланге указательного пальца правой руки чернел крупный чугунный перстень... Присяжные переглянулись между собой, и по лицам их я увидел, что прения сторон могли быть излишни. Дело было решено в обвинительном смысле бесповоротно...

Ученая экспертиза на суде имела, однако, в мое время, две нежелательные особенности. *Первая* состояла в том, что существовавшие внутри медицинского факультета разногласия и ученые распри, вольно или невольно со стороны экспертов, нахо-

дили себе отражение в их об'яснениях на суде. Это особенно проявлялось в Харькове, где в совете медицинского факультета резко обозначались разногласия между профессорами по вопросам, входившим между прочим и в область судебной медицины. В провинциальном городе, в то время (конец шестидесятых годов) не имевшем и половины недавнего числа обитателей, внутренняя жизнь университетской коллегии легко становилась достоянием городских слухов, — и сведениями о взаимных отношениях профессоров пользовались обыкновенно защитники, прося суд о вызове таких экспертов, про которых можно было предположить, что они, если только будет какая-либо возможность, не согласятся с экспертами, вызванными со стороны обвинительной власти. Так, например, Лямблю, и Грубе обыкновенно противопоставлялись два их заведомых противника и в некоторых отношениях соперника, и так как экспертов не удаляли, как свидетелей, из залы заседания до допроса, а предоставляли им, с согласия сторон, оставаться в ней все время, почему они давали свои об'яснения в присутствии товарищей, то на суде иногда происходили эпизоды, оставлявшие довольно тягостное впечатление. Я помню, как однажды профессор Питра отказался отвечать на предлагаемые ему его же товарищем-оппонентом вопросы, яко-бы для выяснения его взгляда на дело, сказав: „господин председатель, я пришел сюда давать заключение по судебно-медицинским вопросам, но не держать вновь экзамен".

Весьма страстную критику встречала со стороны одного из профессоров, постоянно пререкавшегося с Лямблем, экспертиза последнего. Не оставалось без острых возражений и начертание

им, в применении к некоторым случаям, картины сотрясения мозга. По этому поводу мне вспоминается следующий случай. Занимаясь еще на университетской скамье с особенной любовью судебной медициной и слушая не только преподавание этой науки на юридическом факультете, но и посещая вместе со студентами-медиками лекции профессора Мина (известного переводчика Данте), я постоянно следил за специальной литературой, поскольку она касалась судебной медицины и психиатрии. Много поучительных данных дала мне книга известного профессора Каспера—Klinische Novellen,—представляющая богатейший материал по самым разнообразным судебно-медицинским вопросам, и до сих пор поражает меня своим блеском, глубиною и всесторонностью заключение знаменитого Тардье по делу доктора Ла-Померэ, отравлявшего одним из наиболее трудно уловимых ядов—дигиталином—свою любовницу По, предварительно застраховав ее на большие суммы в ряде обществ и заручившись ее завещанием в свою пользу... Накануне слушания дела о нанесении смертельных ударов в голову крестьянину Павлу Калите его братом Иваном Калитою, я купил только что полученный в Харькове выпуск „клинических лекций“ Труссо со статьей о лечении кровоизлияний в мозг посредством кровопускания. В этой статье говорилось о коварном ходе сотрясения мозга, дающем в начале повод думать, что нанесение удара или ушиб не повлекут за собою вредных последствий, так как получивший их вскоре возвращается к обычным занятиям, жалуясь лишь на недомогание, которое, однако, затем постепенно усиливается и оканчивается смертью, как прямым последствием про-

испедшего сотрясения мозга. „Бывает,—говорит Труссо,—что во время сражения воин, контуженный или оглушенный ударом, быстро приходит в себя и продолжает нести свои обязанности и лишь гораздо позже начинает являть болезненные признаки и, наконец погибает. Только *неопытный хирурі* не усмотрит в данном случае несомненного сотрясения мозга“. Я взял эту статью с собою в судебное заседание и, когда на Лямбля, изложившего свой обычный взгляд на commotio cerebri, напал нарочито вызванный защитой его противник, специалист по хирургии, доказывая неосновательность и ненаучность его мнения о ковáрном ходе этого повреждения, я попросил его сообщить, известен ли ему взгляд на ход сотрясения мозга таких великих хирургов, как Пирогов и Нелатон. „Мне не приходилось встречаться с их мнением, но я ни одной минуты не сомневаюсь, что они не согласились бы с мнением профессора Лямбля.—А признаете ли вы авторитетным мнение Труссо?—не без коварства спросил я.—О, да, конечно!—В таком случае позвольте прочесть вам, с разрешения суда, одну страничку из его клинических лекций.“—И я прочел. При словах *неопытный хирурі* ученый сведущий человек вспыхнул и с раздражением воскликнул: „после этого я вам скажу, что сам Труссо—неопытный хирург!“—Присяжные, однако, согласились с Лямблем.... и с Труссо.

Другая особенность состояла в том, что большая часть экспертов знала по опыту или по наслышке старый дореформенный уголовный суд, его бумажное производство и главных двигателей в решении каждого дела — секретарей разных рангов—которые в вопросах судебной медицины не только ничего но понимали, но вовсе и не

интересовались таковыми, особенно при доказанности события преступления. По отношению к виновнику в их распоряжении был целый арсенал *совершенных* и *несовершенных* формальных доказательств, пользуясь которыми они всегда могли свести судьбу обвиняемого на „оставление в подозрении“. Законы о судопроизводстве предрешали заранее, в виде общего правила, значение и вес каждого доказательства, не взирая на его внутреннюю стоимость. Показанию мужчины отдавалось преимущество пред показанием женщины, показанию духовного лица пред показанием светского и т. д. Целому ряду свидетелей отказывалось в доверии. Таковыми были люди, „тайно портившие межевые знаки,“ признанные духовным судом „явными прелюбодеями“ и „иностранцы, поведение которых неизвестно.“ Очевидно, что при таком порядке вещей заключением сведующих людей—и притом всегда лишь письменным -- можно было пренебрегать. Поэтому появление молодых юристов, знакомых с судебно-медицинской литературой и имеющих смелость не соглашаться, спорить и относиться в публичной речи отрицательно к выводам экспертизы, вызывало в сведующих по судебной медицине людях в первое время после введения судебной реформы некоторое неприятное впечатление и высокомерное недоумение. Для последнего, впрочем, нередко подавали повод и молодые деятели обновленного суда, приступавшие к судебной практике не только со скудным багажем знаний по части судебной медицины, но и с поразительным невежеством относительно строения человеческого тела. В университетах большинство студентов юридического факультета относилось небрежно к судеб-

ной медицине, которая, по какому-то недоразумению, не считалась в числе главных предметов юридического курса;—в Училище Правоведения эта наука долгое время находилась в загоне, и мне, при чтении лекций уголовного судопроизводства в этом училище с 1876 по 1883 г., приходилось посвящать значительную часть курса ознакомлению моих слушателей с элементарными судебно-медицинскими вопросами, которые их ждали тотчас по поступлении на службу;—в Александровском Лицее, откуда тоже нередко поступали на судебную службу, судебная медицина не читалась вовсе, и я знакомил с нею слушателей в моем курсе уголовнаго судопроизводства. В моей практике встречались случаи, когда эксперты первой категории, о которых я говорил выше, вынуждены были признавать свое категорическое мнение не только условным, но и лишенным твердых оснований. Помню, как в одном деле эксперт—полицейский врач, на вопрос мой, „почему при вскрытии не были перевязаны им большие сосуды сердца?“ наставительно сказал мне, что это делается исключительно при операциях над живыми, на что должен был выслушать указание на Устав Судебной Медицины, в котором это перевязывание предписывается в главе о судебном осмотре *мертвых* тел, так как, будучи произведено на живом, несомненно обратит его в мертвое тело.

Такое же отношение к прокурору, как к чиновнику, которому нечего совать нос в область судебной медицины, где он ничего не может понимать, встретил я в Казани в первый год судебной реформы в Казанском округе. Первым делом, назначенным к слушанию с присяжными, было дело

об убийстве посредством отравления и задушения отставного рядового Белова его женой и ее сожителем Каляшиным. Обвинение было построено на очень веских косвенных уликах и на том, что от дома убитого до места, где был найден его труп, шли явные следы перетаскивания последнего; в желудке же его был найден мышьяк, а на шее несомненные следы удавления. Все эти данные подкреплялись еще соображением, что Белов, много лет проведший на военной службе и потом сидевший за кражу на пожаре в остроге, вернувшись домой, стеснял и даже делал невозможным образовавшееся между отвыкшей от него женой и принятым ею в дом „жильцом" Каляшиным прочное сожительство. На суде было два эксперта: уездный врач, производивший вскрытие трупа Белова, и профессор судебной медицины И. М. Гвоздев. Во мнениях своих они разошлись. Гвоздев подробно высказал сомнение в том, чтобы в данном случае было отравление и задушение, потому что в трупе было найдено чрезмерно большое количество мышьяку—18 гран,—а явления, характеризующие задушение, могли произойти и от замерзания и от смерти, вследствие крайнего опьянения. Мне пришлось вступить с ним в спор, доказывая, что Белов, выпивший на чужой счет в кабаке, но пришедший домой и севший к жене на лавочку, чтобы покурить, не мог считаться мертвецки пьяным, а в разгаре лета, в жаркие июльские дни, замерзнуть невозможно. Что же касается до чрезмернаго количества мышьяка, то против моей ссылки на Каспера, Бухнера и Орфилу, находивших в трупах отравленных не только 18 гран мышьяку, но гораздо большее количество, в некоторых случаях до 180 гран—Гвоздев не

возражал. Обвинительный приговор присяжных— среди которых находились два профессора медицинского факультета,—произвел в городе большое впечатление, а в местном медицинском обществе вызвал целую бурю негодования против какого-то прокурора, который забыл поговорку „знай сверчок свой шесток“ и позволил себе не соглашаться с авторитетным мнением научного специалиста. Я прислушивался к шуму этой бури спокойно, приписывая ее непониманию значения эксперта на суде и зная, что в конце концов был прав я, а не мой ученый противник, так как на другой день после приговора осужденные сознались товарищу прокурора, заведывавшему местами заключения, в отравлении Белова и в последовавшем его задушении, потому что от данного ему в квасе яда он умирал слишком медленно—и просили лишь отправить их в ссылку одновременно.

С тех пор судьба судила мне не раз не соглашаться с Гвоздевым. Добрый и прекрасный по душе человек, автор нескольких интересных монографий, Иван Михайлович Гвоздев имел своеобразный взгляд на судебную медицину, который он не раз высказывал и мне. Эта наука обязывала, по его мнению, судебного врача к самым широким сомнениям при ее практическом применении. „Широкие сомнения уместны и желательны у судьи, по существу дела—возражал я,—но эксперт, являясь научным судьею факта, совершенно безотносительно к значению, которое будет придано этому факту судом, призывается для дачи суду категорического ответа и не может говорить: „я знаю, что я ничего не знаю“. Но он оставался при своем взгляде и настойчиво проводил

его в тех делах, по которым требовалась его экспертиза. Его настойчивый скептицизм оказывал влияние и на других врачей, вызываемых в судебные заседания. Те, которые уже высказались при следствии определенно, начинали колебаться, а представшие пред судом впервые, нередко начинали „jurare in verba magistri“ или, в отсутствие Гвоздева, не всегда удачно и умело подражать ему. Так случилось в деле извозчика Ковалинского, обвиняемого в убийстве, в запальчивости и раздражении, своей любовницы Прасковьи Федоровой. По характерному показанию обвиняемого, после первых двух месяцев его связи с Федоровой, он задумал жениться на знакомой девушке и „в знак согласия“ получил от нее платок, который, будучи хмелен, показал Прасковье, с об'яснением его значения. На другой день она дала ему „опохмелиться„ стакан мутной водки, от которой он почувствовал „лютую тоску“ и стал постоянно плакать, будучи „не рад вольному свету“ до такой степени, что хотел зарезаться. Вняв затем уговору Прасковьи, он отослал платок назад, уплатил „за убытки от приготовлений к свадьбе“ два рубля, и, поклявшись перед образом не разлучаться с Федоровой, стал ее любить до крайности, тосковать по ней и „при каждом ее сердитом слове чебурахаться ей в ноги“. Но по прошествии четырех лет она стала, по его выражению, „тумашиться и громоздиться“, гулять с солдатами и ходить в „дешевку“. Однажды после целого дня ссор, примирений и попойки в кабаке, содержимом мещанином Анонимовым (sic!), Ковалинский усадил Прасковью в свои дрожки и повез домой. Она рвалась к звавшим ее солдатам и ссорилась с ним. Так они выехали в поле за $^1/_2$ версты от Казани,

и здесь, выпав вместе с нею из опрокинувшейся от крутого поворота пролетки, Ковалинский, у которого „загорелось сердце“, тяжелым железным колесным ключем нанес ей страшные удары в голову, размозжившие череп на 30 осколков и расбросавшие мозг, переломал все ребра и ключицу, сломал под'язычную кость и т. д.—На суде обвиняемый угрюмо и кратко признал себя виновным, сказав „мой—грех“, но один из приглашенных врачей, забывая очевидно, что „quod licet Jovi—non licet bovi“, совершенно неожиданно стал об'яснять, что сомневается в том, чтобы Ковалинский наносил удар живой женщине, а не трупу, так как он предполагает, что упавши с пролетки, она так сильно ударилась головою о мерзлую землю, что тут же лишилась жизни, а Ковалинский неистоствовал уже над трупом. На обычное обращение председателя к подсудимому о том, что имеет он сказать по поводу показания эксперта, Ковалинский вдруг оживился и, обращаясь к эксперту, сказал: „Ну, уж это вы напрасно изволите говорить, что я мертвую бил: я на такое надругательство не согласен. А бил я живую, потому что она всякую совесть потеряла и распутницей стала. Когда я первый раз ее ударил, она завизжала и меня за палец больно укусила, тогда я ее в другой раз, а сколько раз потом уж и вспомнить не могу, сильно выпивши был“.

При встрече с Гвоздевым, мы разговорились об этом случае, и я шутливо заметил ему, что благодаря его постоянным сомнениям, соблазняющим подражать ему, скоро по каждому делу придется обязательно иметь двух противников: эксперта и защитника. „Вы увидите когда-нибудь—сказал он мне,—что вы не правы, приписывая мне

односторонний взгляд на мою задачу и возражая на высказываемые мною сомнения. Там, где я буду убежден в виновности, я не затруднюсь высказать категорическое мнение".—Вскоре нам пришлось встретиться на деле, где самое событие преступления могло подвергаться сомнению, так как можно было с одинаковой правдоподобностью видеть в нем убийство или самоубийство. Данные в пользу того и другого решения были довольно шатки. Одна и та же семейная обстановка лица, лишенного жизни, давала повод предполагать и корыстное умерщвление с целью скорейшего получения наследства и самоубийство вследствие отвращения к жизни, отравленной домашними дрязгами. Данные судебно-медицинского осмотра были вполне об'ективны и указывали лишь на способ лишения жизни, который одинаково мог быть употреблен своею и постороннею рукою. На впечатлительного Гвоздева, очевидно, подействовала в пользу предположения об убийстве развернувшаяся перед ним на суде картина затаенной семейной ненависти, той усиленной и беспощадной ненависти, которая возникает иногда между родными, как бы старающимися оправдать слова Писания, рисующего первое умышленное лишение жизни именно как братоубийство—и он склонил весы своего заключения в пользу убийства, что было, конечно, тяжело его доброму сердцу. Но я не находил достаточных данных для того, чтобы видеть в этом случае убийство и, стараясь всегда очень осторожно обходиться с косвенными уликами, не чувствовал себя убежденным в виновности подсудимого и потому, согласно 740 ст. Уст. Угол. Судопр., заявил суду, что отказываюсь поддерживать обви-

нение. Присяжные вынесли оправдательный приговор. Так и не пришлось нам ни разу сойтись с Гвоздевым во взгляде на дело, но тем не менее я сохранил теплые воспоминания об его благородстве, о чистоте его побуждений и об его обширных познаниях. Через двадцать слишком лет по оставлении мною Казани, мы встретились с ним на Кавказе, в Ессентуках и, как это иногда бывает между старыми противниками, сердечно обрадовались друг другу и много часов провели вместе, с улыбкой вспоминая наши былые споры, которые лишь способствовали всестороннему освещению дела перед присяжными. С грустью пришел я потом через несколько лет поклониться его праху, праху живого свидетеля и участника светлых и счастливых дней введения судебной реформы, когда новая деятельность до глубины души захватывала тех, кто так или иначе приходил на служение русскому правосудию...

В моих воспоминаниях об освидетельствовании сумасшедших („Суще-глупые и умом прискорбные") я уже говорил подробно о психиатрической экспертизе. Воспоминания эти довольно не утешительны, но было бы несправедливо думать, что у меня не сохранилось в памяти и по этой части заслуживающих уважения светлых образов. При экспертизах по делам, где у суда возникало сомнение в умственных способностях обвиняемого, приходилось не только с особым вниманием прислушиваться к об'ясненіям отца русской психиатрии Балинского и его учеников Дюкова, Мержеевского, Черемшанского, Чечотта и Сикорского, но и многому от них поучаться. Мне приходится здесь повторить, что глубокое знание не только своего предмета, но и жизни в ее сложных про-

явлениях, всегда отличало экспертизу Балинского. Я не могу забыть до сих пор некоторых из этих блестящих узоров на строгой канве глубокого опыта и вдумчивости. Я помню, как поразил он присутствовавших по делу об одном злостном убийце неповинной девушки-служанки, который представлял полную картину двух видов душевной болезни, отчетливую до мельчайших подробностей. Когда освидетельствование кончилось, и обвиняемый был уведен, Балинский необыкновенно тонко разобрал оба душевных состояния последнего, указывая, что, теоретически говоря, он несомненно страдает душевным расстроїйством в обоих видах, но что с точки зрения психиатрической практики оба эти состояния совершенно исключают одно другое и никогда не встречаются вместе, так что обвиняемый — чрезвычайно искусный притворщик, вероятно, изучивший по какоїй-нибудь книге все внешние признаки своих душевных болезней, но, на горе себе, в своем усердии соединивший воедино несоединимое. Осмотром камеры обвиняемого было обнаружено, что у него под тюфяком хранилась известная книжка „о болезнях души“ Маудсли, тщательно, как видно было по отметкам, им изученная. Узнав о заключении Балинского и о найденной книге, он рассмеялся и сказал: „Ну, будет! довольно притворяться! надоело“... Не меньшею содержательностью, но, пожалуй, еще большею эрудицией отличались заключения Мержеевского. Об‘ясняя и выясняя душевное состояние обвиняемого, он начинал с широкой периферии отдаленных явлений и, постепенно с‘уживая круги, делал их все ярче и ярче и, наконец, сводил к ясно выраженному и точно определенному болезненному состоянию.

И скольких из них уже нет! Лямбль, Грубе, Питра, Гвоздев, Мержеевский, Дюков, Балинский, Черемшанский... сколько воспоминаний о прошлом возбуждает во мпе каждое из этих имен! Да будет им легка земля, говорю я с благодарным чувством за то безкорыстное содействие, которое каждый из них оказывал тяжелому делу нелицеприятного правосудия.

К сожалению приходится заметить, что психиатрическая экспертиза в последние годы прошлого столетия все более и более переходила из области одного из видов доказательств в область решительных приговоров, облеченных всеми внешними аттрибутами непререкаемой научности. Кто следил за об'яснениями сведущих людей в столицах и больших центрах по вопросам о вменении, не мог не заметить, как под их влиянием постепенно расширяется понятие о невменяемости и сужается понятие об ответственности. В большинстве так называемых сенсационных процессов пред судом развертывается яркая картина эгоистического бездушия, нравственной грязи и беспощадной корысти, которые, в поисках не нуждающегося в труде и жадного к наслаждениям существования, привели обвиняемого на скамью подсудимых. Задача присяжных при созерцании такой картины должна им представляться хотя и тяжелою „по человечеству“, но, все таки, не сложной. Но, однако, когда фактическая сторона судебного следствия была окончена, допрос свидетелей и осмотр вещественных доказательств завершен, на сцену выступали служители науки во всеоружии страшных для присяжных слов: нравственное помешательство, неврастения, абулия, психопатия, вырождение, атавизм, наследственность, автоматизм,

автогипноз, навязчивое состояние, навязчивые идеи и т. п. Краски житейской картины, которая казалась такою ясной, начинали тускнеть и стираться, и вместо человека, забывшего страх Божий, заглушившего в себе голос совести, утратившего стыд и жалость в жадном желании обогатиться во что бы то ни стало, утолить свою ненависть мщением или свою похоть насилием—выступал по большей части не ответственный за свои поступки, в виду своей психофизической организации, человек. Не он управлял своими поступками и задумывал свое злое дело, а во всем виноваты злые мачехи—природа и жизнь, пославшие ему морелевские уши или гутчинсоновские зубы, слишком длинные руки, или седлообразное нёбо или же наградившие его,—в данном случае к счастью,—в боковых и восходящих линиях близкими родными, из которых некоторые были пьяницами, или болели сифилисом, или страдали падучей болезнью, или, наконец, проявляли какую-либо ненормальность в своей умственной сфере. В душе присяжных поселялось смущение,—и боязнь осуждения больного—слепой и бесспльной игрушки жестокой судьбы—диктовала им оправдательный приговор, чему способствовали благоговейное преклонение защиты перед авторитетным словом науки и почти обычная слабость знаний у обвинителей в области психологии и учения о душевных болезнях. В восьмидесятых годах прошлого века создалось учение о неврастении, впервые провозглашенное американцем Бирдом, и разлилось безбрежною рекою, захватывая множество случаев слабости воли, доходя до совершенно немыслимых проявлений невменяемости в роде мнительности, склонности к сомнениям, боязни острых и колю-

щих предметов (belanofobia), антививисекционизма, болезненной наклонности к опрятности и, наконец, такого естественного, хотя и печального чувства, как ревность. И несмотря на то, что современная жизнь с ее ухищрениями и осложнениями, с ее гипертрофией духа и атрофией тела, с ее беспощадной борьбой за существование, конечно, не может не отражаться на нервности современного человека, ничуть не исключающей вменяемости, приходилось часто слышать в судах рассуждение о том, что подсудимый страдает каким-нибудь признаком неврастении, или по новейшей терминологии психастенией,—освобождающей его от ответственности или во всяком случае ее уменьшающей. Когда были вызваны справедливый ропот и понятное смущение действиями судебного следователя на Кавказе, допустившего в своих протоколах ряд искажений и умышленных подделок в целях раздутия об'ема исследуемого им политического преступления, эксперты нашли, что он страдает цереброспинальной неврастенией, которая, однако, не помешала ему считаться способным и усердным—быть может слишком усердным—следователем и затем членом судебной коллегии. На наших глазах появился и термин „психопатии", впервые произнесенный в русском суде на громком процессе Мироновича и Семеновой, обвиняемых в убийстве Сарры Беккер. Эта психопатия получила тоже чрезмерное право гражданства в суде. Слово стало популярным. „Признаете ли вы себя виновным"? спрашивает председатель человека, обвиняемого в ряде крупных мошенничеств и подлогов. „Что же мне признавать?" не без горделивого задора отвечает подсудимый: „я ведь психопат"... „Действовав в состоянии психо-

патии,—писал в своей кассационной жалобе отставной фельдшер, обвиненный в умышленном отравлении,—„я не могу признать правильным состоявшийся о мне приговор“ и т. д. Таким образом это слово служило как бы для определения такого состояния, в котором все дозволено, и которое составляет для подсудимого своего рода position sociale или, вернее, antisociale. В благородном стремлении оградить права личности подсудимого и избежать осуждения больного и недоразвитого под видом преступного некоторые представители положительной науки иногда доходили до крайних пределов, против которых протестует не только логика жизни, но подчас и требования нравственности. Наследственность, несомненно существующая в большинстве случаев лишь как почва для дурных влияний среды и неблагоприятных обстоятельств, и при том исправляемая приливом новых здоровых соков и сил, является лишь эвентуальным фактором преступления. Ее нельзя рассматривать с предвзятой односторонностью и чрезвычайными обобщениями, приводящими к мысли об атавизме, в силу которого современное общество, по мнению итальянских антропологов-криминалистов, заключает в себе огромное количество людей—до 40% всех обвиняемых—представляющих запоздалое одичание, свойственное их прародителям первобытной эпохи. У этих „прирожденных преступников“ есть и перечисленные выше явные признаки. Судить их бесплодно—и если эксперты антропологи найдут эти признаки—вся задача сводится лишь к устранению „прирожденных“ из житейского обихода, в важных случаях навсегда, при чем, по словам Ломброзо, эша-

фот поможет „очищать породу и облагораживать сердца".

Насколько эти обобщения бывают произвольны, видно, например, из того, что к одному из признаков вырождения, известным Ломброзо и его последователями долгое время бывала относима страсть людей преступного типа к *татуировке*. Однако на международном антропологическом конгрессе в Брюсселе было доказано, что всего более татуировка распространена не в мире нарушителей закона, страдающих атрофией нравственного чувства, или прирожденных преступников, а в высших кругах лондонского общества, где существуют особые профессора татуировки, получающие за свои рисунки на теле разных денди и лэди суммы, доходящие до 100 фунт. стерлингов за узор. Понятно, что под влиянием этих взглядов и теорий, при которых главное внимание экспертов направляется не на поступки подсудимого и другие фактические данные дела, а на отдаленные и лишь возможные этиологические моменты предполагаемого в нем состояния невменяемости в момент совершения преступления,—присяжные иногда после долгих колебаний не решались произнести обвинительный приговор. Мне пришлось однажды слышать в заседании суда мнение весьма почтенного эксперта, доказывавшего, что подсудимый, обвиняемый в убийстве в запальчивости и раздражении, должен быть признан невменяемым потому, что находился в состоянии душевного расстройства, характеризуемого отсутствием или подавленностью нравственных начал, очевидным из того, что по делу он представляется хитрым и тщеславным эгоистом с наклонностью к разврату. Мне хотелось спро-

сить эксперта, не находит ли он, в виду таких выводов, что только тихие, великодушные и нравственно-чистые люди являются суб'ектами, представляющими исключительный материал для вменения, и что эти их свойства, в случае совершения преступления в страстном порыве, неминуемо должны обращаться им во вред?

В годы моей непосредственной работы с присяжными крайности экспертизы, направленные в сторону широких обобщений и односторонне понимаемого человеколюбия, были сравнительно редки, но в последние годы они значительно участились. Молодой человек университетского образования, пользующийся цветущим здоровьем, но отлынивающий от всяких определенных занятий, в течение четырех лет занимается искусно обставленной и ловко задуманной кражей дорогих шуб в гостиницах, театрах и публичных собраниях, а также, выдавая себя за местного мирового судью, требует доверия к своим заказам в дорогих ресторанах, отказываясь затем платить по счетам. Экспертиза, однако, утверждала, что он представляет признаки физического и психического вырождения и поэтому невменяем. — Пятнадцати и восемнадцати-летние девушки, возненавидев воспитательницу старшей из них, достают цианистый кали и пускают его в дело, но в недостаточной дозе; затем принимают меры, чтобы добыть стрихнин, но, когда и он недостаточно скоро действует, то убивают старуху во время сна топором—и, по мнению экспертов, совершают это все, действуя *без разумения*.—Молодой человек, о котором все отзываются, как об умном, хитром, очень способном и понятливом, но ленивом, решительно не желает учиться, а желает жить и

кутить на счет богатого отца и, когда последний требует от него трудовых занятий, грозит ему убийством, старается раздобыть яд и револьвер и, наконец, подкравшись ночью к спящему отцу, зарезывает его припасенным ножом, выписав пред тем в записную книжку статьи Уложения—о наказаниях за отцеубийство. После убийства, восклицая: „собаке собачья смерть!“ он идет с приятелем выпить и закусить и отправляется в об'ятия проститутки, а из-под ареста спрашивает письмами, нельзя ли пригласить защитника, умеющего гипнотизировать присяжных, и какая часть наследства после отца достанется ему в случае оправдания. На суде эксперты находят, что у подсудимого ассиметрия лица и приросшие мочки ушей (морелевские уши); покатый лоб и длинные ноги; у него притуплено нравственное чувство, ибо он угрюм и не сразу отвечает на вопросы, подергивает плечом и неуместно улыбается. Кроме того, его отец лечился от ревматизма, а мать страдала бессонницей и дважды лечилась от нервов. Все это, как дважды два, доказывает, что подсудимый глубокий вырожденец, заслуживающий сострадания, а не осуждения. И присяжные, не решаясь идти против такого многостороннего вывода, давшего, конечно, благодарный материал для гипноза защитительной речи, выносят оправдательный приговор. Можно их понять, когда и коронный суд, быть может, затруднился бы мотивировать свое несогласие с мнением нескольких специалистов, говорящих от имени и во имя науки. Но дозволительно спросить, не смешали ли они в данном случае последствия с причинами, не нашли ли, что post hoc ergo propter hoc и не слишком ли щедро одарили они злого

бесдельника дарами более чем сомнительной наследственности, причислив, между прочим, к признакам вырождения и то, что сидящий на скамье подсудимых *отцеубийца* не находится в *светлом* настроении духа, а угрюм и, рассчитывая, как он сам заявлял при следствии, быть признанным действовавшим в умопомешательстве, медлит ответами на вопросы о предумышленности своего злодеяния.

К судебно-медицинской и психиатрической экспертизе в последнее время примыкает исследование вопроса о вменении относительно людей, действовавших, по их заявлению, под влиянием или неотразимым воздействием *гипнотических внушений*. До суда стали доходить дела о действиях, совершенных по словам обвиняемых, в состоянии гипноза, в которое они были приведены или для выполнения преступных действий, или для дачи ложного показания и удостоверения несуществовавших обстоятельств под влиянием внушения обманов памяти, т. е. так называемых ретроактивных галлюцинаций. Суду в этих случаях приходится обыкновенно иметь пред собою мнение представителей двух противоположных взглядов на свойства лиц, подчиняющихся гипнозу и на размеры действия внушения. Представители двух выдающихся школ по изучению гипноза—Нансийской—Бернгейм и Парижской (Сальпетриер) — знаменитый Шарко, согласные в том, что настоящие *душевно* больные совершенно не поддаются внушению, находят однако—*первый* из них, что гипнозу подчиняются 80% людей вообще, как здоровых, так и *нервно*-больных, и что им возможно внушить преступление до полного его выполнения без всякого с их стороны противо-

действия,—а *второй*, что гипноз действует лишь на 50% *истерических* и *нервно*-больных и что даже больной, в душе которого заложены нравственные начала, совершив по внушению некоторые предварительные действия, в решительный и окончательный момент остановится под влиянием внутреннего протеста. Если внушением можно, до известной степени, подчинить себе чужую волю в случаях обыденной жизни, безразличных в нравственном отношении, то при внушении на преступление совесть преодолевает скованную волю и заставляет загипнотизированного впадать в бессилие отвращения или нервный припадок, кончающийся просветлением разсудка.

Судебная практика знает несколько выдающихся процессов, в которых был возбужден вопрос о гипнотическом внушении. Таков парижский процесс о Габриели Бомпар, которая, по соглашению с некиим Эйро, заманила к себе своего богатого любовника нотариуса Гуффе, содействовала его задушению искусно-приспособленной петлей, связала труп, зашила его в мешок и провела около него целую ночь. Она об'ясняла свои действия внушением со стороны Эйро. Сведующие люди разошлись во взглядах, но присяжные отвергли гипноз и вынесли обвинительный приговор, согласившись с Шарко и Бруарделем.

У нас обратило на себя внимание дело фельдшера Хрисанфова, который, будучи приглашен для массирования зажиточной купчихи Румянцевой и вступив с нею в связь, восстановил ее против отца и выработал план отравления последнего, осуществленный Румянцевой. При следствии и на суде она ссылалась на то, что следовала внушениям, сделанным ей во время

массажа. Два ученых эксперта, последователей взглядов Бернгейма, нашли, что Румянцева могла подчиниться гипнозу, вызванному массажем, в виду своей болезненной нервности и истеричности. Продолжительные наблюдения в психиатрической больнице не подтвердили их вывода и присяжные вынесли обвинительный приговор. Вопрос о возможности внушения путем искусно подстроенных систематических спиритических сеансов и записей возбуждался, вызывая резкие разногласия и в Екатеринославском деле Корбе и Алымовой о составлении первым духовного завещания и об истязании им сына под гипнотическим влиянием последней. Область продолжающихся, но далеко еще не оконченных безусловным выводом исследований по гипнозу, спиритизму, телепатии, чтении мыслей и т. п. и резкое разногласие между школами в Нанси и в Сальпетриер содержит указание на необходимость строго критического отношения к этого рода экспертизам и тщательной проверки с физическими и нравственными условиями данной личности и с обстоятельствами дела для избежания обмана в ссылках обвиняемого на свое „внушенное“ состояние.

II.

Между *не медицинскими* экспертизами, с которыми мне пришлось ознакомиться на своем веку, одно из самых видных мест занимает *художественная.* Я разумею здесь не то, довольно частое, заключение сведущих людей об оригинальном происхождении статуй или картин по делам, где возникало обвинение лица, сбывшего подложную картину или статую за подлинное произведение того или другого знаменитого художника или скульптора. В этих случаях сравнение или сличение обращалось на технику исполнения, на особенности, свойственные художнику, на его подпись, на состояние полотна и красок и в некоторых случаях на условные знаки, употребляемые художником. Не разумею также и экспертизы *археологической,* направленной на установление действительности давнего происхождения предметов древности, столь искусно подделываемых в последнее время для опустошения карманов не только легковерных американцев, но иногда и хранителей Европейских музеев, чему ярким примером служит известная парижская история с фальшивой тиарой скифского царя Сатаферна. В этих случаях об'ектом исследования был неодушевленный предмет, по поводу которого выростала целая гора технических справок, исторических данных и специальных исследований. Но, во время моего пребывания в Берлине в 1885 году, мне

пришлось ознакомиться в подробностях с делом, где огромную роль играла оценка пред судом *настроения художника*, поскольку оно выражается в его произведении и почерпается из обстановки и условий его личной жизни. Сколько мне известно, это был первый и едва-ли с тех пор не единственный опыт такого исследования через сведущих людей. Я говорю о процессе известного профессора Берлинской Академии художеств Грефа,—автора многих монументальных картин, украшающих музеи Берлина, — обвинявшегося перед присяжными в клятвопреступлении. Помимо специального интереса этого дела, ведение его раскрыло с особой яркостью те недостатки отправления уголовного правосудия в Германии, которые и четверть-века спустя не могли не вызывать по делу князя Эйленбурга сурового осуждения со стороны каждого юриста, в котором профессия не убила человечности.

Профессор Греф, почти семидесятилетний бодрый и отлично сохранившийся человек, с прекрасным выразительным лицом и седою бородою был видным представителем немецкого художества в 70-х и 80-х годах. В начале последних в Берлине и в других больших городах Германии сильное впечатление произвела его картина „Сказка“ (Märchen), изображавшая болотистую прогалину в лесу, в которой, ярко освещенная солнцем, стоит молодая девушка, устремившая восторженный взгляд на небо, при чем с ее прекрасного девственного тела спадает хвост сирены. Картина была очевидно написана en plein air, и изображенное на ней женское тело отличалось целомудренною чистотою античных статуй. — В начале 1884 года художник Кречмер просил Грефа взять

в натурщицы тринадцатилетнюю Елену Гаммерман, на несчастье их обоих уже глубоко испорченную нравственно в родной семье, содержавшей балаган для фокусов. Вскоре Кречмер и Греф сделались предметом вымогательства со стороны семейства натурщицы, под угрозой подать жалобу на постыдные предложения, которые они, будто бы, делали малолетней Гаммерман. Требования денег сменялись униженными просьбами, личные свидания — письмами, и дело кончилось тем, что, по жалобе Кречмера, мать Елены Гаммерман и ее вдохновитель и подстрекатель, частный ходатай Кришен, были приговорены за вымогательство на два года в тюрьму. При разбирательстве этого дела в качестве свидетеля был допрошен Греф и некая Берта Ротер, служившая ему моделью для „Сказки“. На вопрос председателя:— были ли между ними интимные отношения?—оба отвечали отрицательно и подтвердили свое заявление присягой, которая в германском процессе приносится не до, а после дачи показания. Прокурорский надзор нашел, однако, что присяга дана ложно, и возбудил преследование против Грефа и Ротер. На суде выяснилось, что последняя происходила из нуждавшейся семьи и уже с 14 лет состояла под надзором полиции, как проститутка. Узнав, что Грефу необходима натурщица для „Сказки“, она явилась к нему в 1878 году и служила моделью на открытом воздухе, в особо нанятом лесном участке на острове Рюгене. Художник был недоволен своею работой и шесть раз ее переделывал. Человек увлекающийся и идеалист, он восхищался Бертой, как моделью, удовлетворившей его художественный замысел, и радовался возможности доставлением честного заработка

поднять нравственно павшую, быть может не по своей вине, девушку. Он побуждал ее учиться, нанимая ей преподавателей и платя за нее на курсы новых языков, — давал ей средства для путешествий, — поместил ее в театральную школу,— добился принятия ее в труппу драматического театра в Берге и с горечью расстался с нею, когда она сошлась за два года до процесса с богатым офицером. Из взятой при обысках их переписки видно было, что он заботился о всем семействе Ротер, передал в разное время матери Берты свыше двадцати тысяч марок и поместил пансионеркой на свой счет старшую ее сестру, страдавшую падучей болезнью, в убежище для таких больных. Он обращался к Берте на „ты“, посылал ей много стихов, в которых называл ее „дикой розой, обвившей старый дуб“, „ароматным цветком“, „белокурым дитятей“ и т. д. Она ему писала „вы“ и „профессорхен“. Просидев пять месяцев в предварительном заключении, не отпущенный даже на поруки любящей жене и трем взрослым сыновьям, Греф предстал на суд вместе с Бертой Ротер и здесь в течение многих дней ему пришлось выпить чашу, тщательно наполненную всевозможной грязью сведений, добытых из сомнительных источников, — выслушать свидетелей, повествовавших о своем подслушиваньи и подглядыванье, — присутствовать при том, как мать любимой когда-то девушки называла ее „профессорской девкой“, а последняя именовала свою мать „хищной тварью“, — из уст председателя узнать, что его поэтическая вдохновительница и благоуханная роза с 14 лет была посетительницею казарм, получила билет на занятие непотребством и познакомилась с секретным отделением город-

ской больницы — и, наконец, присутствовать при чтении своего собственного завещания и особого письма к своим детям, в котором он просил их простить ему его привязанность к Берте, отрицая в этом чувстве низменное вожделение и оправдывая его необходимостью для художника иметь пред собою прекрасный образ.

Председатель ландгерихта Мюллер, ведя судебное заседание, совершенно заслонил собою прокурора и предпринял ту „охоту на подсудимого“, которою так любили, а может быть любят и до сих пор заниматься французские президенты ассизов. Он—без французского остроумия, „но с чувством, с толком, с расстановкой“—заставлял подсудимого пережить и перестрадать каждое пред'явленное против него доказательство, насмешливо и иронически относясь к тем об'яснениям, в которых тот отрицал чувственный характер в своих стихах или письмах, адресованных к Берте. Он безжалостно и грубо касался самых сокровенных сторон семейной жизни подсудимого, исторгнув у него, наконец, признание, что его жена—женщина больная и капризная. Когда этот почтенный представитель правосудия замечал, что на присутствующих производило хорошее впечатление то или другое заявление Грефа о его вере в искренность и душевную чистоту Берты и о его страстном желании сделать из своей модели безупречную и честно трудящуюся женщину, он спешил бросить в лицо подсудимому выписку из секретного дознания о каком-либо эпизоде, который показывал, в каком смрадном разврате утопала Берта до знакомства с ним. Два раза со стариком Грефом делалось дурно, и его истерические рыдания оглашали залу суда...

Наиболее интересным пунктом этого процесса была экспертиза.

Вызванным в судебное заседание—художнпку Дилицу и профессорам Эвальду, Вольфу, Гуссову и Юлию Лессингу—в довольно сбивчивой форме предложен был ряд вопросов, сводившихся в сущности к следующим: а) допустимо ли, чтобы художник, увлеченный личностью своей натурщицы и видящий в ней реальное осуществление своего творческого идеала, находящийся при том с нею в постоянном, вне рабочего времени, общении, мог не проявить по отношению к ней чувственных стремлений и не вступить с нею в связь? и б) допустимо ли предположение такого целомудренного отношения Грефа к Берте Ротер в виду рассмотренных на суде вещественных доказательств и полученных сведений о расходах, произведенных им на Берту и ее семейство?— В отношении первого вопроса четыре художника, с Лессингом во главе, высказали, что подсудимый, имея уже большую известность, как исторический живописец, во второй половине своей жизни стал увлекаться, со свойственной ему страстностью, писанием портретов, стремясь найти идеальное по выражению и очертанию женское лицо, чтобы воплотить его затем в ряде создаваемых им изображений, подобно Рубенсу, который повторил лицо своей жены во многих своих картинах [1]). В этом он хотел итти по следам луч-

[1]) Нельзя не отметить, что то же самое замечалось долгое время в произведениях нашего талантливого художника покойного К. Е. Маковского, в картинах которого на самые разнообразные историко-бытовые сюжеты постоянно повторялись черты одного и того же прелестного лица.

ших мастеров времени ренессанса, влагавших в свои высочайшие произведения черты действительно существующих людей и писавших, таким образом, так сказать идеализированные портреты. В Берте Ротер он нашел ту идеальную наружность, которую он искал для воспроизведения ее в ряде последующих изображений. Знакомство с нею, по словам Лессинга, наполнило впечатлительного и доверчивого Грефа величайшей радостью. Он говорил, что наконец достиг того, о чем давно мечтал для своих работ, и восторгался при мысли о возможности писать Берту где-нибудь в уединении, на открытом воздухе, в ярком солнечном освещении. По мнению экспертов, присоединившихся к Лессингу, увлечение натурщицей, как об'ектом для творчества, вовсе не связано с чувственным к ней отношением. Работа художника, занимающегося своим делом, не как ремеслом, а по глубокому призванию, исключает для него возможность смотреть на обнаженное женское тело затуманенными чувственною страстью глазами. Гармония линий, игра красок, распределение светотени—вот что всецело привлекает его взор. Поэтому в большинстве случаев между художниками и их постоянными натурщицами существует некоторая простота обращения, от которой до связи еще очень далеко. С этим взглядом не согласился, однако, профессор Вольф, заявивший, что, не считая вообще Грефа способным на клятвопреступление, он тем не менее думает, что горячее увлечение художника своей натурщицей, при полной податливости с ее стороны, должно неминуемо приводить к интимной связи, в особенности, если этот художник обладает при том страстным темпераментом Грефа.

По отношению ко второму вопросу те же самые лица высказали, что если натурщица в такой степени удовлетворяла духовным запросам творчества художника, что он считал ее средством к достижению высшей ступени в своем артистическом развитии, то трудно установить мерило для возможных на нее расходов в том случае, когда художник получает крупное денежное вознаграждение за свои работы и стремится развить, образовать и нравственно облагородить ту, чья физическая внешность даст могущественный толчек его творчеству. При этом они указали, что в Риме и в Париже есть художники, которые требуют, чтобы излюбленная ими натурщица позировала исключительно им одним, отвергая все приглашения других художников, и за это, конечно, расходуют на нее довольно большие суммы.

По настойчивому требованию защиты присяжным была пред'явлена и самая картина, изображающая „Сказку“. Сначала этому воспротивился председатель суда, находивший, что хотя картина эта и была беспрепятственно обозреваема на выставках, но что рассмотрение ее в присутствии той, с которой она написана, имеет непристойный характер и не может быть допущена в интересах общественной нравственности. В конце концов суд согласился на полезность как выяснения того, какой большой труд и напряжение требовались от Берты Ротер для того, чтобы позировать с изогнутым назад станом, опираясь на одну лишь ногу, так и для проверки утверждений Грефа, что обнаженное тело Берты изображено им с идеальной, а не плотской точки зрения. Поэтому он признал, что присяжные могут быть допущены к осмотру картины, но „в отдельной комнате в от-

сутствие допрошенных свидетелей", при чем самая картина должна быть доставлена в помещение суда и принесена в эту особую комнату не иначе, как тщательно закрытая какой-либо непрозрачной тканью.

На-ряду с приведенной выше экспертизой была произведена и другая, весьма своеобразная. При прочтении многочисленных стихотворений подсудимого, отобранных у Берты Ротер и взятых из пакета с завещанием Грефа, присутствовали известный критик Людвиг Пич и писатель Поль Линдау, могущие об'яснить суду, насколько содержание этих поэтических произведений может служить доказательством интимной связи между подсудимыми. Председатель, плохо разбиравший почерк Грефа, предложил ему самому читать эти стихотворения, и последний, бледный, как полотно, читал их крайне волнуясь, сказав в заключение прерывающимся голосом: „Ну да, я страстный человек. Но *бесстрастный* человек никогда не может быть художником. Я умел сдерживать свои страсти и воспевал красоту не как реальную осязаемость, а как продукт поэтической фантазии. Тех, к кому влекутся с низменным животным вожделением, не воспевают в поэтических образах". При этом он прочел суду стихотворение, написанное им после окончания „Сказки", в котором он благодарит свое искусство, приучившее его видеть прекрасное в жизни, возносясь над ее пошлостью,—итти по ступеням совершенствования и поднимать из праха ту, которая дала свой лик его картине, поднимать так высоко, как только может подняться его мечта. Он заключил свое чтение просьбою прочесть его письмо к Берте Ротер при посылке ей крупной

суммы денег, при чем эта жертва об'яснялась предположением, что Берта никогда не допустит себя до низменного падения и что пред житейским искушением она взвесит, можно ли предпочесть исполнение легкомысленного желания чувству преданности своему верному и заботливому другу. Насколько сохранилось в моей памяти, мнение Пича и Линдау сводилось к тому, что поэтические произведения, в которых нет точных фактических указаний, могут служить лишь показателем настроения автора или его идеалов.

В конце десятидневного морального истязания Грефа, едва ли имевшего что либо общее с целями правосудия, присяжные, после получасового совещания, вынесли оправдательный приговор, несмотря на обращенную к ним аллокуцию прокурора о том, что „если ужасно осуждение невинного, то еще ужаснее оправдание виновного". Этому оригинальному юристу и представителю государственного обвинения, очевидно, была неизвестна совершенно противоположная великодушная резолюция, поставленная слишком за сто лет до его афоризма его соотечественницей, бывшей ангальт-цербстской принцессой.

Вообще надо сказать, что этот процесс представил практическое осуществление прусских приемов судопроизводства по возбуждающим особое внимание делам в весьма печальном свете. Я говорил уже о поведении председателя по отношению к подсудимому. Обращение со свидетелями было тоже своеобразное: они допрашивались без всякой системы и определенного порядка, и председатель обращался к некоторым из них с увещанием, напоминающим шутливый Горбу-

новский рассказ о политическом процессе, в котором духовное лицо, делающее перед присягой увещание свидетелям, напоминает им, что „не токмо закон гражданский, но *даже* и Господь Бог наказывает за ложное показание“. Председатель Мюллер говорил свидетелям: „подумайте о спасении вашей *души*: если вы о чем-нибудь умолчите или что-либо солжете, то это будет лжеприсяга, и вы за это отправитесь в тюрьму“.

В свою очередь один из защитников называл, не будучи останавливаем председателем, Елену Гаммерман, вновь допрошенную на суде, „*канальей*“ и утверждал, что и отец ее имеет те же характерные свойства, так как достаточно услышать его отвратительный голос, чтобы получить явное доказательство его гнусного характера. Наконец, тяжеловесное красноречие сторон и неуклюжий язык председательских раз'яснений, несмотря на патриотическне походы против французских слов, пестрели именно этими словами, на-ряду с немецкими, напоминая замечание Бодлера—„il y a des mots qui hurlent de se trouver ensemble“. По свежей памяти я записал некоторые из них: „er sollte sich schauffieren“,— „ein obscures Haus“,— „er giebt Feten“,—„mit Rigorosität ausschliessen“,— „er hat scharmiert“—„es ist sehr significant“ и т. п.

Оправдание Грефа было встречено радостно его семьей и с большим сочувствием общественным мнением. Но испытания его не окончились. Через день после его оправдания некоторые из берлинских газет сообщили с негодованием, что вслед за прибытием оправданного домой, к нему явился книгопродавец Прейс, заявивший, что им уже приготовлено изложение только что оконченного дела с весьма пикантными подробностями, портретами

и картинками, но что из уважения к чувствам семьи профессора, он готов отказаться от печатания заготовленной книжки, если последний немедленно уплатить ему полторы тысячи марок на покрытие уже сделанных расходов. Предприимчивому и вместе чувствительному книгоиздателю была указана дверь. Но предварительное заключение, возбуждение и способ ведения дела и, наконец, вымогательства, приведшие его в тюрьму и снова встретившие его по выходе из нее, отравили Грефу существование в Берлине. Он скоро покинул этот город и переселился в Мюнхен, где недолго прожил с своим глубоко подорванным здоровьем. Но перед смертью, в 1888 году он выставил картину, представляющую высоко художественный протест против того, чему его подвергли в Берлине, и вместе защиту творческого воображения. Она называлась „Преследуемая фантазия“ (Die verfolgte Phantasie). В ясное над сгустившеюся темнотою небо, изогнув назад свой изящный стан, улетает стройная молодая женщина, с восторженно распростертыми руками и устремленным в высь взором. Какие-то мегеры с искаженными злобой лицами бессильно стараются ее удержать за легкое покрывало. Судья читает ей смертный приговор, палач потрясает цепями, куски грязи и навоза летят ей вслед...

Через десять лет после процесса, проезжая летом через Висбаден, я прочел в местных об‘явлениях о развлечениях, что в маленьком театрике Reichshallen представляются пластические копии с известных картин и что в „Сказке“ Грефа позирует девица Берта Ротер...

Нужно ли говорить о крайней шаткости и даже опасности второй из экспертиз, которая была до-

пущена по делу Грефа. Самая отправная ее точка неприемлема уже потому, что определение реальности фактов, содержащихся в поэтическом произведении обвиняемого, и вывод из них об его виновности—немыслимы, ибо при этом необходимо совершенно забыть о роли фантазии и эстетического настроения. Когда „божественный глагол“ коснется чуткого слуха поэта, он, по словам Пушкина, становится „смятения и звуков полн“. Судить о впечатлении поэтического произведения, конечно, может всякий одаренный чувством и умеющий ясно о нем мыслить, но отделить фантазию от действительности не может никакой эксперт. Да экспертиза тут и не нужна. Если судья может судить о том, оскорбляет ли какое-нибудь произведение чью-либо честь или доброе имя, не нуждаясь в помощи экспертов,—если он призван судить о безнравственности произведения, то и о содержании поэтического произведения он может судить сам. В предсмертном стихотворении: „О, муза, ты была мне другом“... Некрасов говорит о „волшебных грезах“. Как же можно втиснуть эти „волшебные грезы“ в пределы экспертизы? Если по отдельным стихам судить о самом поэте, то против каждого из них можно легко составить целый обвинительный акт. Допускать такую экспертизу нельзя. Она невозможна и по суб'ективности выбора экспертов. Какой поэт может быть компетентным судьей другого поэта? Рассекание поэтических образов и мыслей холодным оружием судейского анализа принесет только вред истинному правосудию.

III.

Долгое время наиболее прочно поставленной экспертизой, после медицинской, считалась экспертиза *каллиграфическая*. Она и встречалась чаще всего, главным образом по делам о подлогах различных документов, и играла нередко решающую роль. Иностранная практика представляет блестящие примеры такой экспертизы. Достаточно вспомнить громкое дело о вымогательстве эмигрантом князем Петром Долгоруким пятидесяти тысяч франков у князя Воронцова под угрозой в сочинении о русском дворянстве произвести его род от какого-то проходимца, жившего в XVIII веке, а не от древней боярской фамилии. Вымогательное требование было написано в третьем лице на отдельном листке, вложенном в письмо самого корректного содержания, подписанное Долгоруким. Оба документа были написаны на разной бумаге, разными чернилами и совершенно разным почерком. Но блестящий разбор адвокатом Матье этих документов и каллиграфическая экспертиза при парижском суде в окончательном своем выводе убедили судей, что и то и другое исходят от князя Долгорукого. Искажение почерка в вымогательной записке было произведено в совершенстве, но привычка писать букву А с своеоб-

разным хвостиком, связывать во едино двойные S и отделять W от других букв,—свойственная Долгорукому, взяла свое и в конце записки несколько раз особенно ясно появились предательские хвостики, за которые и сам писавший был вытащен на свет Божий. Другая выдающаяся каллиграфическая экспертиза была тоже произведена во Франции по поводу писем королевы Марии Антуанеты, изданных академиком Фелее де Канш—и оказавшихся очень искусно подделанными. В моей практике такая экспертиза встречалась несколько раз. В известных делах игумении Митрофании, княгини Щербатовой и Маргариты Жюжан, обвиняемой в отравлении своего воспитанника, она играла очень важную роль. В последнем деле имел серьезное значение анонимный донос, приписываемый обвиняемой и адресованный градоначальнику, с изветом на семью Познанских, в которой Жюжан жила воспитательницей. Эксперт, учитель чистописания Буевский, изучая строки этого доноса, оставил старый способ *сличения очертания букв* и путем сравнения несомненного почерка Жюжан представил блестящую характеристику *привычек* писания — одинаковых у нее и у автора доноса. Иногда такая экспертиза направлялась на изучение свойства почерка, как это было, например, по громкому делу Мясниковых, обвиняемых в подлоге миллионного завещания от имени купца Беляева. Сведущие люди высказали, что дрожащий почерк, которым сделана подпись Беляева на завещании, не может принадлежать обвиняемому в этом Караганову, имеющему почерк твердый. С таким заключением я, исполняя обязанности обвинителя, не мог согласиться, находя, что дрожащий почерк

может явиться результатом вполне понятного волнения и тревоги у лица, изготовляющего своею рукою подложную подпись и сознающего, что совершает преступление. В этом случае твердость обычного почерка—не при чем. Наоборот, трудно предположить, чтобы человек, пишущий постоянно дрожащим почерком, мог на время так дисциплинировать свои физические и духовные силы, чтобы совершить подлог твердым почерком.

Ныне каллиграфическая экспертиза все более и более вытесняется *фотографической* экспертизой, достигающей иногда поразительных результатов. Фотографический снимок передает такие тонкие и разносторонние подробности, которых никакое увеличительное стекло сведущих каллиграфов обнаружить не в состоянии. Фотографическая экспертиза не только во многих случаях обличает неуловимую для каллиграфа подделку, но и дает, так сказать, ее диагноз. Но обоим последним видам экспертизы грозит в будущем опасность: даже фотографический снимок окажется бессильным, когда в общее и повсеместное употребление войдут пишущие машины и для сличения останутся лишь подписи, а не самый текст разных документов и записок, писанных заподозренным лицом. Тогда наступит особое развитие *исследования слога, стиля и соблюдения правил правописания*, исследования очень сложного и весьма ответственного.

В смысле последнего уже начинают появляться довольно еще редкие работы. Из известных мне самая замечательная была произведена в 1886 году, по делу об убийстве Петина. В 1885 году, около Липецка, в своем имении скоропостижно умер 60-летний помещик Василий Петин в весьма по-

дозрительной обстановке. Живший у него в доме в качестве учителя, студент Харьковского университета Яков Анисимов вызвался помогать следователю в собирании справок и письменных работах. Когда, по вскрытии трупа, обнаружилось, что покойный умер от отравления азотно-кислым стрихнином, Анисимов высказал подозрение, что это произошло от ошибочного, а быть может и злонамеренного отпуска фельдшером из аптеки при земской больнице этого сильно-действующего яда, вместо обычно принимаемой Петиным хины. Произведенными при следствии обысками в аптеке и у фельдшера было однако с несомненностью выяснено, что высказанное Анисимовым подозрение лишено всякого основания. Тогда он заявил, что, по его мнению, Петин сам отравился, напуганный исполненным угроз анонимным письмом, которое тем сильнее на него должно было подействовать, что семейная обстановка его, в виду ссор с женою и взрослым сыном, действовала на него удручающим образом, а дела грозили ему близким раззорением. Он представил и самое анонимное письмо, переданное ему, по его словам, Петиным, начинавшееся словами: „тебе, утратившему подобие Божие, погрязшему в гнусном разврате и леденящих душу преступлениях, Каину и извергу, давно уже хочется мне сказать несколько слов“... и заканчивавшееся, после ряда ругательств и угроз, словами: „я думаю, что на тебя, закоснелого злодея, достойного виселицы, от которого, кажется, откажется и сама холодная могила, мои правдивые слова пахнут змеиным шипучим ядом, но я уверен, что за подлеца не придется отвечать ни пред Богом, ни пред людьми“. Одновременно с этим и Липецкий уездный пред-

водитель дворянства представил судебному следователю полученное им за два месяца до смерти Петина тоже анонимное письмо, автор которого предостерегает предводителя относительно Петина, будто бы распространяющего о нем грязные и вредные сплетни и представляющего собою „гнусный поддонок мошенничества“. В то же время Анисимов, уже допрошенный в качестве свидетеля, выразил желание дать дополнительное показание, состоявшее из изложения „краткой биографии“ Петина, в которой покойный рисуется жившим на содержании у старых богатых женщин, расточавшим их имущество, поджигателем своего застрахованного дома, покупщиком краденого и „чертовски“ развратным...

Между тем собранные по делу данные в своей совокупности не только оказались идущими совершенно в разрез с предположением о самоубийстве Петина, но из них с несомненностью обнаружилось, что между женою последнего и Анисимовым существовала с трудом скрываемая связь, по поводу которой между супругами происходили бурные сцены, после одной из которых, за год до смерти мужа, Степанида Петина сказала одной свидетельнице: „Ну, погоди, старый чорт, я тебя отравлю“.

Это обстоятельство, в связи с худо скрываемою ненавистью Анисимова к Петину, заставило обратиться,—по правилу „is fecit cui prodest“—к отысканию улик против усердного добровольца по исследованию причин самоотравления Петина и словоохотливого его биографа. Явилось подозрение, что письма, полученные Петиным и предводителем дворянства, исходят из одного источника, и что таковым является Анисимов. Внешнее срав-

нение их с почерком последнего дало, однако, отрицательные результаты: бумага, чернила, начертание букв оказались в обоих письмах совершенно разными. Это не остановило, однако, вдумчивого и энергичного следователя, и он решился произвести чрез сведущих людей *литературное исследование* этих писем в связи с изложенной Анисимовым „краткой биографией“ Петина. В качестве экспертов были приглашены — известный ученый, профессор Московского университета Н. С. Тихонравов, профессор Брандт и магистр Рузский, представившие обширную и потребовавшую большого труда работу, в которой они выяснили *основную идею* всех трех документов,— обусловленное ею *содержание* их,—манеру *изложения* и характеристические особенности *стиля* и *языка* их. В общем выводе, к которому эти лица пришли путем тонких психологических соображений и сопоставления текстов в целом и в отдельных частях, ими было признано, что оба письма написаны Анисимовым с целью отклонить от себя подозрение в подготовляемом им отравлении Петина. Биография последнего, которую Анисимов с такою готовностью предложил приобщить к делу, дала, в своем изложении и содержании, богатый материал для решительных выводов об авторстве его и по отношению к письмам. Многими глубокими и вместе остроумными соображениями эксперты доказывали, что содержание писем и биографии составляет развитие основной мысли автора, состоящей в том, что не нужно искать виновных в смерти Петина, что за таких подлецов никто не должен нести ответственности пред небом и людьми и что Петину *следовало* самому покончить с собою. Они отмечали также, что

именование Петина „отвратительным *поддонком* мошенничества“ встречается в обоих письмах, по внешности своей исходящих от разных лиц, а что излюбленные Анисимовым выражения „сказать еще несколько слов“, „послужить к чему-нибудь“, и „змеиный шипучий яд“ составляют принадлежность и биографии, и писем.

Обращаясь к общим выводам о *манере* изложения и особенностях *стиля* и *языка* во всех трех документах, эксперты нашли, что литературные приемы автора рассчитаны на воздействие на воображение читателя. Прошедшее событие излагается как развивающееся пред глазами читателей; для живости рассказа очень часто употребляется выражение *„и вот“*... и предложения после точки начинаются с союза *и* (например: „и когда за чаем...“, „и причина его болезни“... и т. д.); вместе с тем везде является скопление местоимений третьего лица в одном и том же предложении („и послать ему его тебе“, „и стал ему его об‘яснять“); периоды отличаются крайней длинностью, запутанностью и несогласованностью начала с концом; местоимения употребляются неправильно; вместо предлога *из* везде употребляется *с* („мне известно *с* телеграммы“, „с его рассказа стало ясно“) и т. д. Привлеченный в качестве обвиняемого, Анисимов упорно отрицал свою виновность,—обвиняемая в соучастии с ним вдова Петина отзывалась полным незнанием даже очевидно известных ей обстоятельств. Оба были преданы суду. В день заседания, препровождаемая в здание суда, вдова Петина отравилась спрятанным у нее ядом—*стрихнином*.—Анисимов судился один и был присяжными признан виновным в предумышленном отравлении Петина.

Председателю II отделения Академии Наук М. И. Сухомлинову, в качестве доктора славяно-русской филологии пришлось давать заключение „сведущего лица“ по весьма оригинальному делу. Врач Ипполит М—ий обвинял свою жену и ее брата в прелюбодеянии и кровосмешении и когда это обвинение было безусловно опровергнуто, как внушенное желанием отомстить за недачу М—у дополнительного приданого за женой, то он в свою очередь был привлечен за ложный донос. Оправдываясь, он ссылался на письма своей жены к матери, якобы содержащие указание на нарушение ею супружеской верности. Полученные при следствии данные указывали, что Надежда М—ая находится в рабском подчинении мужу, который обращается с нею жестоко и запирает, уходя из дому, на ключ — и это вызвало вопрос — не были ли письма к матери принудительно продиктованы М. жене. Сухомлинов, тщательно разобрав имевшиеся при деле письма М—х с точки зрения слога и стиля, нашел, что письма Надежды М—ой по складу речи вообще, по высокопарности и искусственности выражений и совершенному сходству слов и оборотов, свойственных не русскому, а польскому языку, составлены под несомненным влиянием ее мужа, при чем она даже знаки препинания употребляла так же неправильно, как он (*двоеточие* пред словом *что*).

Можно указать затем на сложное гражданское дело Т—ко с О—шим, в котором тщательное исследование экспертами документов, подтверждающих исковые требования Т—ко, привело их к подробно мотивированному заключению, что ответчик, по приемам и характеру, свойственным его *стилю*, не мог быть автором этих документов.

Несомненно, что экспертиза стиля и языка может играть большую роль не только в уголовных, но и в некоторых гражданских делах. К ней может иногда присоединиться и экспертиза так сказать *историческая* в тех случаях, когда требуется исследовать соответствие не одного содержания, но напр. стиля, слога и языка документа той или другой исторической эпохи. Знаток истории литературы без труда определит напр. в письмах, записях и других документах и т. п., чем отличается язык и слог XVI столетия сравнительно с языком и слогом XVII и XVIII столетий,—уловит разницу в способе выражения конца и начала XIX века,—отметит слова, только в известные периоды родной истории вошедшие в употребление или—наоборот—вышедшие из него. Он скажет: „это документ не подлинный, а сочиненный ad hoc потому, что в нем события конца XVII века описываются языком XVI-го,—или же „в этой записи XVII века есть слова, вошедшие в русский язык лишь после Петра Великого, что делает ее недостоверною" или, наконец, — „этот дневник, выдаваемый за подлинный, не может принадлежать современнику Японской войны, ибо его слог и язык свойственны временам Фонвизина и Державина". Такие историко-литературные экспертизы бывали уже на Западе. Одна из них, например, касалась и упомянутых выше писем Марии Антуанеты, приобретенных и изданных Фелье де-Конше́м и оказавшихся идущими в разрез с историческою действительностью—что дало материал Альфонсу Доде для его романа „Бессмертный".

Надо полагать, что экспертиза московских профессоров оказала действительную услугу право-

судию, выведя на чистую воду лукавого и чрезчур предусмотрительного убийцу, но вообще к таким исследованиям надо относиться очень осторожно. Рассматривая характерные особенности языка и слога, не надо забывать, что, например, повторяемость в разных документах одного и того же слова или выражения вызывается бессознательной подражательностью, — что служебные занятия приучают совершенно чуждых друг другу лиц выражаться одинаковым официальным или деловым языком и что есть, наконец, словечки, вторгающиеся в язык так сказать эпидемически. На наших глазах лет двадцать назад так вторглось слово *„обязательно“* в смысле *французского certainement*, а после 1905 года ряд слов, вызванных движением политической жизни страны, в роде „кадет“, „платформы“, „черносотенство“ и т. п. Кроме того, этого рода экспертиза представляется весьма затруднительною в смысле компетентности сведущих людей. Конечно, авторитет Сухомлинова, Тихонравова и его сотрудников стоит вне сомнения,—но откуда взять *таких* экспертов где-нибудь в далекой провинции или на окраинах? не будет ли выбор их слишком произволен и случаен, и не будут ли они, вопреки своей прямой задаче, соблазняемы возможностью, выйдя из рамок своей компетенции, заняться оценкою улик под флагом оценки стиля и языка?

IV.

Одно время в литературе и среди юристов был возбужден и оживленно обсуждался вопрос об особой экспертизе в делах о так называемых преступлениях печати, в которых громадную роль играет тенденция произведения и цель его напечатания. Для разрешения таких тонкостей, доступных не каждому пониманию, должна служить *литературно художественная экспертиза*. Литературно-художественный и научный мир—мир обособленный и знакомый далеко не всем—говорилось при этом. О тенденции произведения искусства может судить только художник, о тенденции научного сочинения только ученый. Отсюда необходимость специальной экспертизы в таких случаях ясна сама по себе. Что касается прессы, то, в виду ее громадной роли для осуществления общественных и частных интересов, она требует и особого кодекса правил этики. Эти правила могут быть выработаны только корпоративными традициями, подобно правилам этики адвокатуры и врачей. Поэтому некоторые находили крайне желательным, чтобы сознание могущественной роли, присущей печати, побудило ее представителей установить дисциплинарно-товарищескнй суд чести, дающий возможность обиженным частным лицам обращаться к этому суду и сделать ненуж

ным тяжелое и неудобное обычное судебное разбирательство. Быть может, некоторым такая экспертиза и покажется приемлемой и желательной, но против введения ее в практику можно возразить. Если к этой экспертизе, как к одному из доказательств *события* преступления, надо относиться с осторожностью, то к той же экспертизе относительно *состава* преступления необходимо отнестись отрицательно. Предлагаемая экспертиза оправдывается тем, что мир художника недоступен пониманию простых смертных, для которых художник приподнимает лишь кончик завесы, скрывающей таинственную область творчества, имеющую свои законы, независимые от правовых и этических понятий общества—и где главным и единственным мерилом деятельности должна быть художественная правда. Но „мир артиста", „художественная правда" и т. п. выражения слишком неопределенны, растяжимы и понимаются иногда, в практических проявлениях артистической жизни, очень своеобразно. Существует мнение, что художник есть исключительная натура, для которой „закон не писан". Из воспоминаний современников мы знаем, сколько талантов увяло и сколько не развернулось во всю ширь, благодаря этой теории титанических страстей, потребностей и порывов, выражавшихся по большей части очень прозаически, а иногда даже и постыдно. Практическое приложение такой теории к современным условиям жизни изобразил в ярких образах Зудерман в своей драме „Конец Содома".

При том—как бы велик ни был художник, во внешних проявлениях своей натуры он должен сообразоваться с законами общежития, хотя бы уже потому, что оно гарантирует ему спокойное

и безопасное служение искусству. Если он будет *совершать* безстыдные, соединенные с соблазном, *поступки,* если он будет развращать „малых сих", то какие-бы этому оправдания ни находил он в своем внутреннем мире,—суд обязан будет применить к нему соответствующие статьи уголовного закона и против этого, конечно, никто ничего не возразит. Но если он, однако, проделает все это при посредстве *печатного станка, кисти или рєзца,*— этот самый внутренний мир фантазий, нередко наполненный чувственными образами, должен служить ему оправданием или, по крайней мере, влечь за собою из'ятие его из дейiствия обыкновенного суда. Почему? В своем внутреннем мире он владыка и повелитель, он свободен у себя, на высотах Парнаса,—но, когда он снисходит до нас, простых смертных, толпящихся лишь у подошвы Парнаса, и вращается в нашей бесцветной жизни—он не может оскорблять *наши* нравы, и нарушать *наши* законы. Для того же, чтобы судить о том, совершено-ли оскорбление и нарушение *этих* нравов и законов, не нужна никакая специальная экспертиза.

В частности, надо заметить, что основанием для суждения о вредном умысле произведения, развращающего нравы и противного чувству приличия, может прежде всего служить *способ его распространения.* Таким образом, едва ли можно преследовать тех издателей—библиоманов, которые иногда, с ущербом для себя, издают эротические произведения античной и средневековой литературы и безнравственные романы XVIII века—по возможности в точных копиях, назначая им, по специальному каталогу, громадную цену, доступную лишь для библиофилов,—или тех художни-

ков, которые издают в очень ограниченном числе и по особо высокой цене альбомы произведений своих нескромных кисти и карандаша. Здесь нет опасности для общества, для молодого поколения, ибо нет *доступности всем* и, так сказать, всенародности.

Затем, критерием является *цель*, всегда доступная пониманию здравомыслящего судьи. Такой судья, конечно, признает, что ученые сочинения в роде „Половых извращений“ профессора Тарновского или „Судебной гинекологии“ Мержеевского, предназначенные „для врачей и юристов“, никогда не могут быть подведены под уголовный закон, ибо преследуют научную цель и в руках сведущих лиц служат на пользу общества, среди которого, в мрачных углах человеческого падения и безумия, гнездятся описываемые в этих книгах пороки. Этому судье, с другой стороны, вовсе не нужно выслушивать экспертов, чтобы видеть, что какая нибудь „Физиология и гигиена брака“ доктора Дебе или прославленная безчестными парижскими рекламами „Кама Сутра—индийских браминов“ суть нечто иное, как грязнейшая порнография, прикрытая флагом якобы научных приемов. Простой здравый смысл и впечатление обыкновенного читателя, на которого именно и расчитывается при издании большинства произведений, подскажут с достаточною ясностью судье, имеет-ли печатная вещь научную цель, для достижения которой эти картины *нужны*—или они *сами по себе являются целью*. Трудно представить себе суд, который могли-бы эксперты убедить, что гнойные страницы маркиза де Сада имеют целью служить искусству или что похождения кавалера Казановы суть ученое исследование по

истории вообще и по истории тюрем в особенности.

Иногда приходится встречать мысль, что за правдивое изображение жизни и проявлений природы, каковы-бы они ни были, художник не может быть ответствен, особливо если это изображение проникнуто талантом. Но талант, как и ум—лишь орудие. Они подобны острому ножу, одинаково нужному и чтобы резать хлеб за семейной трапезой, и чтобы зарезать в лесу или на большой дороге одинокого путника. Важны цели и побуждения, которым служат ум или талант.

Таким образом, во многих случаях задача экспертов сводилась бы лишь к доказательству, что инкриминируемое произведение „с подлинным верно“. Но задача суда и шире, и глубже. Природа имеет проявления, вызывает отправления, описанию которых место в специальных исследованиях, в физиологии, в судебной медицине и т. п. В жизни эти проявления природы нуждаются в прикрытии.Нельзя позволить совершить все отправления природы публично, какое-бы значение в экономии человеческого организма и даже в жизни целого человечества они ни имели. На страже этого запрещения стоит уголовный закон, подчас весьма суровый. Но если нельзя *осуществлять,* то почему же можно *описывать*? Почему осуществляемая картина должна вызывать стыд и отвращение, а представляемая или описываемая лишь удивление пред „художественною правдою“? Беллетристическое произведение имеет обыкновенно предметом описание развития и проявления чувства. В развитии своем это чувство часто соприкасается и роковым образом сливается с животной чувственностью. Но все знаменитые мастера наши

умели останавливаться пред изображением проявления чувственности, касаясь лишь иногда его результатов. Стоит припомнить „Анну Каренину“, „Воскресение“, „Вешние воды“, „Накануне“, „Дворянское гнездо“, „Обрыв“. Есть житейские стороны развития чувства, описание которых не входит в задачу истинного художника, как-бы реальны они ни были. Но даже и при отступлении от этого, суд (и при том—по условиям процесса—в двух инстанциях) всегда сам может вывести—входят-ли оцениваемые изображения и положения, как неизбежный кусок мозаики, в полноту и цельность общей картины, в которой автор, подобно Золя, желает представить патологическое состояние целого общества, развращенного во всех своих слоях и неудержимо идущего к разложению—или-же эти изображения расчитаны лишь на возбуждение нездорового любопытства, которым обеспечивается самый успех произведения, в роде наделавшей когда-то шуму „Mademoiselle Girot“ или пресловутого „Сада мучений“ Октава Мирбо.

Экспертиза *научности* направления едва-ли представляется целесообразною, ибо выбор экспертов, а затем и их заключение в этой сфере всегда будут произвольными и односторонними. Кто именно представитель *настоящего* „научного направления“, чтобы с точностью дать отзыв о *ненастоящем* научном направлении? Все зависит от господствующих в данное время веяний и взглядов. Стоит представить себе экспертизу *аллопата* о *гомеопатическом* сочинении! Притом самая оценка научного достоинства тех или других положений изменяется с течением времени. Долго теория Дарвина о происхождении человека не подвергалась никакому сомнению,—голос Агассиза заглу-

шался хвалебным хором великому открытию и „ненаучность направления“ была заранее написана над всеми возражениями. Но взгляды изменились и знаменитый Вирхов торжественно заявил, что „в вопросе о первоначальном человеке дарвинисты отброшены по всей линии, непрерывность восходящего развития потерпела крушение, *проантропоса* не существует и недостающее звено остается фантомом“. Не поставит ли такая экспертиза суд в запутанное положение, не затруднит-ли еще более его задачу? Не вводить новые, не вызываемые техническими условиями дела, экспертизы надо, а надо стремиться к поднятию образовательного уровня судей, к доставлению им возможности следить за общим развитием знаний и отзываться сознательно и самостоятельно на все явления жизни, подлежащие их рассмотрению и не имеющие специального технического характера...

В заключение, относясь с большим сочувствием к идее дисциплинарно-товарищеского суда чести, надо заметить, что этот суд едва-ли компетентен разбирать дела о клевете и диффамации и что решения его не будут иметь удовлетворяющего и успокаивающего результата. В газете, среди массы разнообразного материала, напечатано известие, представляющее клевету на частное лицо и явившееся последствием легкомысленной торопливости или личного мщения автора. В кругу личной жизни оклеветанного это известие может произвести самое тяжкое впечатление. Клевета вонзится ему в сердце, как отравленная стрела, каждое прикосновение к которой усугубляет страдание,—клевета наложит печать на его расположение духа, энергию, деятельность, от-

ношение к окружающим. Она заставит его семью и стыдиться, и негодовать. Она разрушит спокойствие целого кружка и будет храниться *про запас* недругами и лживыми друзьями. Но редактор, напечатавший это известие, считая его соответствующим действительности, со своей стороны мог преследовать общественные цели, мог думать, что борется с действительным злом и исполняет высокую миссию печати. Известие могло появиться, как иллюстрация для оправдания целого похода, предпринятого в пользу хорошего дела, с доброю целью. При этом частного человека жаль, но что делать: „лес рубят—щепки летят!“ Кто-же разберет спор между дровосеком и щепкою?! Кзждый из них по своему прав,—а стоят они—в оценке того, что случилось,—на разных полюсах. Суд товарищей, как-бы беспристрастен он ни был, всегда оставит в обиженном сомнение, вызванное предположением о корпоративности взглядов и известной партийности. Да и нельзя составлять суд из профессиональных представителей одной стороны. Поэтому и здесь, несмотря на возможные несовершенства, безстрастный коронный суд, независимый в своей деятельности от взглядов сторон, более будет соответствовать цели. Другое дело—разбор споров между товариществом по оружию в тесных пределах литературной семьи, как это и практикуется в различных специальных союзах.

Мне пришлось, наконец, встретиться в моей судебной практике еще с особым видом экспертизы, которую можно назвать *сценическою*. По очень волновавшему московское общество делу о покушении нотариуса Назарова на целомудрие девицы Черемновой, судебный следователь Московского

окружного суда по важнейшим делам, желая определить, в каком душевном состоянии находилась Черемнова во время нападения на нее Назарова, под влиянием предшествовавшего дебюта ее на клубной сцене, пригласил, в качестве экспертов, двух московских артисток—Московского Малого театра М. Н. Ермолову и театра Лентовского А. Я. Главу-Мещерскую — для дачи заключения по вопросу о воздействии первого сценического дебюта на нервную систему артистки. Первая из них об'яснила, что живо помнит свои впечатления от первого дебюта в шестнадцатилетнем возрасте,— помнит, что ожидание этого рокового в жизни момента так волновало и даже страшило ее, что были минуты, когда она даже готова была отказаться от появления на сцене; помнит также о сильном изнеможении, в котором она вернулась домой, вызванном пережитыми волнениями и продолжительным пребыванием на ногах во время спектакля. Знаменитая артистка добавила к этому, что и по прошествии четырнадцати лет со времени первого дебюта, уже достаточно освоившись со сценой, она не может освободиться от этих волнений и наступающей затем крайней усталости, особенно в тех случаях, когда приходится исполнять тяжелую ответственную роль. Вторая из вызванных об'яснила, что для артистки вообще, а для нервной и впечатлительной тем более, первый сценический дебют составляет до того важное событие в ее жизни, что не забывается никогда. Оно памятно и как первый шаг на новом для нее сценическом поприще, и в особенности, по тем впечатлениям, которые волнуют ее при этом. Волнения эти, начинаясь с первого же момента, как только артистка решилась высту-

пить на сцену, преследуют ее, постепенно возрастая, вплоть до самого акта выступления на сцену, и чем этот период продолжительнее, тем большее томление душевное испытывает артистка. Нервная система за это время напрягается до такой крайней степени, что когда оканчивается спектакль, в котором она участвовала, все физические силы совершенно оставляют ее. Артистка прибавила, что она живо помнит, что когда после первого появления ее на сцену, она приехала домой, — все предшествовавшие ожидания этого момента и волнения до того потрясли ее организм, что разрешились страшным нервным состоянием. Она вернулась без сил, без ног, без голоса, с весьма слабым сознанием, словом, совсем больная, и ей нужно было некоторое время, чтобы силы снова вернулись к ней.

Нельзя отказать такой экспертизе в оригинальности и не признать ее интересной. Но более чем сомнительно считать ее приемлемою вообще и в качестве судебного доказательства в особенности. Нельзя, конечно, отрицать, что обе артистки в данном случае являлись теми лицами, которые, согласно указанию закона, приобрели продолжительными занятиями в своем искусстве особую опытность и специальные сведения. Но нельзя не видеть, что в данном случае их об'яснения не могли служить для точного уразумения того обстоятельства, для раз'яснения которого они были вызваны. Приходится признать, что артистки, в рассказе которых об *их* впечатлениях судебный следователь хотел найти мерило для оценки впечатлений другой артистки, полученных при том в другой обстановке, никак не могут считаться экспертами в настоящем смысле слова. Они—свидетельницы о собственных

чувствах и больше ничего, могущие лишь гадательно говорить о том, что было в душе и с организмом лично неизвестной им девушки после ее первого дебюта. Несомненно, что драматическнй артист или певец может подлежать с пользою для дела допросу о технических условиях сцены, об обязанностях своего звания, о принятых условиях обучения, быть может, даже о распределении ролей, о распоряжении костюмами, о необходимой бутафории, гриме и т. д. Но вызывать их для экспертизы чувств, способа исполнения, душевного настроения совершенно нецелесообразно. Даже и там, где условия внешней природы, где законы физики и механики одинаковы и точны, нет возможности по впечатлениям и ощущениям одного человека судить о них же у другого, и вызывать, например, водолаза, воздухоплавателя или альпиниста для дачи заключения о том, какие впечатления должен был переживать другой, занимающий тем же, чем и они. Если для признания человека сведущим лицом имеют значение его знания и опытность в своем деле, то не меньшее значение надо придавать и тому, о чем его спрашивают. Экспертиза чувств и впечатлений вводит исследователя в область проявлений индивидуальных настроений под влиянием состояния здоровья, темперамента и целого ряда почти неуловимых для постороннего условий и обстановки каждого данного случая. Вывод сведущих людей должен быть безусловно об'ективным, тогда как такая экспертиза, имея чисто суб'ектпвный характер, неизбежно должна приводить к произвольным выводам. При том там, где есть суб'ективность, там нет специализации в настоящем смысле слова, а где нет последней, там отсутствует глав-

ный элемент экспертизы. Сами артисты в одинаковых обстоятельствах и ролях чувствуют себя совершенно различно. Мочалов глубоко переживал то, что изображал на сцене, и, потрясши до глубины души зрителей, некоторое время затем не мог сознать себя в обстановке реальной жизни; по отзыву знакомых с нею людей, Элеонора Дузе вносит столько душевных сил в свое исполнение, что на другой день после представления чувствует себя совсем разбитой. И совсем иначе относится к своим ролям Сарра Бернар и относился знаменитый Каратыгин. Оба они вкладывали в свое исполнение глубокое и тонко-рассчитанное искусство, но душевно своих ролей не переживали. Тем, кто помнит на итальянской оперной сцене безвременно погибшую Бозио, и в тех же ролях бесподобную по своим голосовым средствам и искусству Патти, будет, вероятно, ясна та разница в душевном настроении артиста, о которой я говорю. Не надо забывать, что врожденный талант и блестящая техника дают возможность успешно изображать чувство, которого не испытываешь. Рассказывают, что Гаррик, находясь в одном обществе, на неотступные просьбы проявить свой сценический дар, взял в руки подушку, об'яснив, что это его любимый ребенок и, высунувшись затем из окна, как бы нечаянно выронил эту подушку. Когда он повернулся лицом к присутствовавшим, оно изображало такое отчаяние и невыносимые страдания, что с некоторыми сделалось дурно, а остальные умоляли его перестать их мучить своим видом, что он со смехом и сделал....

ОГЛАВЛЕНИЕ.

СТР.

Глава первая.

Сведущие люди. Судебно-медицинская экспертиза. Профессора Лямбль, Грубе, Питра и Гвоздев в судебных процессах их времени. Особенности ученой экспертизы. Психиатрическая экспертиза. Проф. Балинский, Мержеевский, Сикорский и др. Гипнотические внушения и вопрос о вменении . . 3—33

Глава вторая.

Художественная экспертиза. Судебный процесс проф. Берлинской Академии Художеств Грефа . . . . . 34—46

Глава третья

Каллиграфическая экспертиза. Процессы кн. Долгорукого, Маргариты Жюжан, Мясниковых. Фотографическая экспертиза. Исследование слога и стиля. Дело об убийстве Петина. Историческая экспертиза . . . . . 47—56

Глава четвертая.

Литературно-художественная экспертиза. Сценическая экспертиза. Процесс Назарова и Черемновой и экспертиза в нем артисток М. Н. Ермоловой и А. Я. Гламы-Мещерской . . . . . 57—68

Издательство „ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА“
Петроград, Думская, 5, тел. 167-19.

Вышла в свет новая книга:

П. А. РЫМКЕВИЧ

Чудеса XX века.

С 141-й иллюстрацией

Книги высылаются в провинцию наложенным платежем при получении 50% стоимости заказа. Каталог книг с ценами высылается по первому требованию.

Книгопродавцам—обычная издательская скидка.

Издательство „ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА“
Петроград, Думская, 5, тел. 167-19.

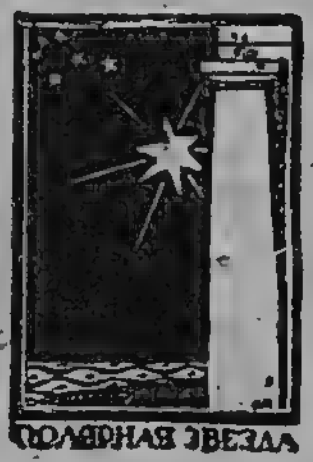
Вышли в свет:

1. **А. Л. Волынский.**—Четыре евангелия.
2. **Н. Н. Евреинов.**—Первобытная драма германцев.
3. **Н. А. Некрасов.**—Каменное сердце (повесть из жизни Ф. М. Достоевского), под редакцией и со вступительной статьей К. И. Чуковского.
4. **Его-же.**—Неизданные произведения, под редакцией и со вступительными статьями В. Е. Евгеньева-Максимова и К. И. Чуковского.
5. **А. Ю. Финн-Енотаевский.**—Карл Маркс и новейший социализм. Второе издание.
6. **А. Ф. Кони.**—Память и внимание. (Из воспоминаний судебного деятеля).
7. Проф. **И. М. Кулишер.**—Денежное обращение в прошлом и настоящем.
8. **Вильгельм Вундт.**—Мировая катастрофа и немецкая философия. Перев. с немецкого и предисловие Е. М. Браудо.
9. **Сборник памяти А. А. Блока.** (Распродано).
10. **Э. Ф. Голлербах.**—В. В. Розанов. Критико-биографический очерк.
11. **П. Губер.**—Анатоль Франс. Критико-биографический очерк.
12. **К. И. Чуковский.**—Футуристы.
13. Проф. **Е. В. Тарле.**—Крестьяне и рабочие в эпоху Великой Французской Революции. 4-е переработанное и дополненное издание.
14. **В. П. Коломийцов.**—Кольцо Нибелунга. Трилогия Р. Вагнера.
15. **Анатоль Франс.**—Маленький Пьер, Перев. М. А. Кузмина.
16. **Его-же.**—Юность Пьера. Перевод М. А. Кузмина.
17. **Н. Клюев.**—Мать Суббота.

18. **Елизавета Полонская.**—Под каменным дождем. Стихи
19. **Евгения Руссат.**—Майский снег. Стихи.
20. **А. Грин.**—Белый огонь. Рассказы.
21. **Бальзак.**—Озорные сказки. Перевод Ф. К. Сологуба.
22. **Виктор Муйжель.**—Детские рассказы. (Распродано).
23. **Н. Хаммарстрем.**—Курре и др. рассказы. Перевод с шведского Елены Благовещенской. (Распродано).
24. **Барбра Ринг.**—Пейк. (Из жизни маленького норвежца). Пер. с норвежского Елены Благовещенской. (Распродано).
25. **М. Санд.**—Чудесный глобус. Перевод с шведского Елены Благовещенской.
26. **Виктор Муйжель.**—Путешествие. На плотах. Рассказы. (Детская библиотека „Полярной Звезды“ № 5).
27. **М. Кузмин.**—Условности. Статьи об искусстве.
28. **Уптон Синклер.**—История американского миллионера.
29. **Этапы.** — Сборник рассказов и стихотворений: Арк. Аверченко, дон Аминадо, А. Ветлугина, Павла Жакмона, Лери, М. Первухина, Тэффи.
30. **П. А. Рымкевич.**—Чудеса XX века. С 141 иллюстрацией.
31. **Всеобщий календарь на 1923 год.**
32. **А. Ф. Кони.**—Суд—наука—искусство.

Печатаются:

33. **Клод Фаррер.**—Барышня Дакс. Роман. Перевод с французского А. Г. Мовшенсона.
34. **Г. Де-Вэр-Стэкпуль.**—Ордер на освобождение. Роман. Перевод с английского А. В. Лучинской.
35. Проф. **В. В. Арнольд.**—Инерция и тяготение с точки зрения теории относительности Эйнштейна.
36. Проф. **Е. М. Браудо.**—История музыкальных инструментов. Часть I. Клавишные инструменты.
37. Проф. **Н. Я. Пэрна.**—Сон и его значение.
38. **Безмоторный полет.**—Сборник статей Р. Эйзенлора, Кармана, Дудка, К. А. Виланда и Н. А. Рынина. Перевод с немецкого Аэрокружка Петр. Института Инж Путей Сообщения под ред. проф. Н А. Рынина.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:

Петроград, Думская ул. 5.